

Александр Грин

# Фанданго



Александр Грин

**Фанданго**

«Public Domain»

1927

**Грин А. С.**

Фанданго / А. С. Грин — «Public Domain», 1927

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I                                 | 5  |
| II                                | 7  |
| III                               | 9  |
| IV                                | 12 |
| V                                 | 13 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 15 |

# Александр Грин

## Фанданго

### I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегают по комнате человек, взглядывая на холодную печь, – хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это – июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед – эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого – мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами – лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Брокку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Брокком.

С. Т. – грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» – и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:

– Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот – ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек – это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба – полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, ненавижу его и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, – ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, – говорит человек, голодающий жестоко и долго, – потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполтину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой;

администрация столовой скрадет, больницы – скрадет, склада – скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...), нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацепала. Тот потерял уже все, все искажил: вкусы, желания, мысли *и свои* истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», – подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вождение.

– Очевидно, – говорил я, – так естественен, разумен, так *прост* путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек вlepляет себе умеренную пощечину. Это – неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, он означает неуважение и к себе и к другим.

## II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, *просто* веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

– Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошелей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта – даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, – до дыр на игривых щеках, – бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблукками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, – заявлял четвертый, – иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы

цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом, напоминал горца – черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, – сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, – так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцвечал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно стараясь я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были *вразрез* всякому настроению, прямо *пересекали* его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане – сами в себе – те же, как и вчера, – гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Броксу и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон. не действ. Прошу громко стуч.»



### III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, – эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатоности черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медленно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

– Я к вам, – сказал я (в квартире были и другие жильцы). – Позвольте, однако, прежде всего согреться.

– Что, мороз?

– Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому румбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, подпернул повыше бьюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

– Я вас слушаю, – сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, в чем предполагался, однако, *порыв*.

– «Сумерки», – сказал Брок, видя, куда я смотрю. – Величайшая вещь!

– О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

– Что это? Купить?

– Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

– Э... – сказал Брок, косясь на меня через плечо. – У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

– Найду, – сказал я. – Я потому и пришел, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

– Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

– Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огорчаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди

кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором, дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву – «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту *мысль*, и чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока – знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал – может быть, миллионной дробью мгновения, – что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, – так, задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

– Вы заждались? – сказал Брок. – Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря:

– Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

– А что за картина?

– А, чепуха! Мазня, дурной вкус! – сказал Брок. – Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна – пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

– Вы быстро пишете, – заметил я, чтоб не затянуть молчания. – Ну, что же Горшков?

– Да как сказал – двести.

– Это за Горшкова-то двести? – сорвалось у меня. – Дорого, Брок!

– Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

– Это – картина, – сказал я. – Я намерен ее купить; о том речь.

– Нет, – возразил Брок, уже раздраженный и моими словами, и безразличием к картинам своим. – За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я, вспыхнув, не мог удержаться от острого вопроса:

– Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

– Хорошо же вы понимаете... Циник!

– Зачем браниться, – сказал я. – Что плохо, то плохо.

– Ну, все равно, – заявил он, хмурясь и смотря в пол. – Двести, как было, пусть так и будет: двести.

– Не будет двести – сто будет.

– Вот теперь начинаете *вы* ...

– Хорошо! Сто двадцать пять?!

Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.

– Эту я отдам даром, – сказал он, потрясая картиной, – на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

## IV

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плющом, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! – И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина – эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни – была передана неосязаемой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти *мазки* – ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был – неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

– Вот именно, – сказал Брок, видя, что я молчу. – Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

– Что же, – сказал я, отставляя картину, – двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?

– Не знаю, кто рисовал, – сказал Брок с досадой. – Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

– Да, я куплю Горшкова, – сказал я. – Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

– Если наверное, то в семь часов буду вас ждать, – сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки. – Вот так люблю: раз, два – и готово – по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в «Дом ученых», или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

## V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, – все окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков – вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркнувшийся на месте, потому что испортился механизм, – и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Вozy скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки – кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров – детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались сломя голову прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец – того типа, что в солдатстве варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился, – был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!...» Взлетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:

– Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

– Что такое? – сказал тот после долго натянутого молчания. – Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и, не настаивая, удалился.

«Как?! Едва встретились и уже расстаемся», – подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченая, побежал я на Миллионную.

Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, – лишь потер лоб.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.